

Александр КАБАНОВ

ПОЭЗИЯ – СТРАННОЕ ДЕЛО...

ОТКРЫВАЯ АМБАРНУЮ КНИГУ ЗИМЫ

Открывая амбарную книгу зимы,
снег заносит в нее скрупулезно:
ржавый плуг, потемневшие в холках – холмы,
и тебя, моя радость, по-слезно...

...пьяный в доску забор, от ворот поворот,
баню с видом на крымское утро.
Снег заносит: мычащий, некормленный скот,
наше счастье и прочую утварь.

И на зов счетовода летят из углов –
топоры, плоскогубцы и клещи...
Снег заносит: кацапов, жидов и хохлов –
и другие нехитрые вещи.

Снег заносит уснувшее в норах зверье,
след посланца с недоброю вестью.
И от вечного холода сердце мое
покрывается воском и шерстью.

Одинаковым почерком занесены
монастырь и нечистая сила,
будто все – не умрут, будто все – спасены,
а проснешься – исчезнут чернила.

* * *

Вот мы и встретились в самом начале
нашей разлуки: «Здравствуй-прощай»...
Поезд, бумажный пакетик печали, –
самое время заваривать чай.
Сладок еще поцелуев трофейный
воздух, лишь самую малость горчит...
Слышишь, «люблю», – напевает купейный,
плачет плацкартный, а общий – молчит.
Мир, по наитию, свеж и прекрасен:
чайный пакетик, пеньковая нить...
Это мгновение, друг мой, согласен,
даже стоп-краном не остановить.
Не растворить полустанок в окошке,
не размешать карамельную муть,

зимние звезды, как хлебные крошки,
сонной рукой не смахнуть. Не смахнуть.

ПТИХ

Моему ангелу

1.

Вот берешься за что-нибудь старое
и ненужное людям вообще.
Там, где окорок – виснет гитарою
у бессмертья на правом плече.

Где живешь голубиною почтою
в темноте на четыреста ватт.
И прибрежную рифмой неточною,
и любовью своей – виноват.

Вот берешься заделывать трещину
в небосводе чужих потолков
и с похмелья придумашь женщину,
феминистку, – и будешь таков.

В смысле этого масла прогорклого,
в свете льда на Каширском шоссе:
так пустынно и гарсиалорково,
что в себя – возвратятся – не все.

2.

Здесь – пригнись, осторожно – ступеньки,
видишь пьяный ларек у дороги?
За смешные для Киева деньги
я тебе напишу на хот-доге:

золотою горчицей – о Боге,
о любви – майонезом вчерашним,
я тебе напишу на хот-доге
быстро-быстро, нестрашно-нестрашно.

Что – вокруг небеса и потемки –
уподобились картам игральным...
...напоследок – немислимо тонким,
острым кетчупом артериальным.

3.

В лошадином саду, где стреножены яблони, яблони,
чьи стволы до рассвета усыпаны дятлами, дятлами.

ПОЭЗИЯ – СТРАННОЕ ДЕЛО...

Если лошади – в яблоках, значит, и яблоки, яблоки –
над землею висят – в лошадях, будто бы дирижаблики!

Это самая честная в мире рекламная акция:
у меня в голове – революция и менструация.
Выбирайте, что хуже, и с ней выходите на площади,
лишь оставьте мне яблоки, там, где рифмуются – лошади.

ДИВЕРСАНТСКИЕ ПЕСЕНКИ

* * *

И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде,
и внутри у нее провода в разноцветной и старой одежде.
Желтый провод – к песчаной косе, серебристый – к звезде над дорогой,
не жалея, перекусывай все, лишь – сиреневый провод не трогай.

Ты не трогай его потому, что поэзия – странное дело:
все, что надо, – рассеяло тьму и на воздух от счастья взлетело.
То, что раньше болело у всех – превратилось в сплошную щекотку,
эвкалиптовый падает снег, замедая навеки слободку.

Здравствуй, рваный, фуфаечный Крым, потерявший империю злую,
над сиреневым телом твоим я склонюсь и в висок поцелую.
Липнут клавиши, стынут слова, вот и музыка просит повтора:
Times New Roman, ребенок иа., серый волк за окном монитора.

* * *

Если финики будут в финале,
значит – гоблины сменят редут.
И меня на Обводном канале –
вокруг пальца опять обведут.

Этот город – сплошное коварство:
два билета на полный провал.
Повторяешь, как будто лекарство:
целовал, целовал, целовал.

Каждой твари влюбленной – по паре
в туристический сядет ковчег.
Не играй мне на синей гитаре
деревянными пальцами, снег.

Не протягивай фляжку с абсентом
и за ляжку меня не хватай.
Я родился секретным агентом
и в меня влюблена Гюльчатай.

Что ж ты, Господи, неразговорчив?
Я опять угодил в переплет –

и его разрисовывал Горчев,
потому что – Житинский не пьет.

Будто счастье всегда бестолково,
а любая легенда – ацтой.
И не выдаст меня Ямакова:
«Золотой, – говорит, – золотой...»

* * *

Рыжей масти в гостиной паркет –
здесь жокей колдовал над мастикой.
И вечерний бутылочный свет
был по вкусу приправлен гвоздикой.
За щекой абажура опять –
то ли Брамс, то ли шум Геллеспонта...
Хоть кента приглашай забухать,
хоть кентавра купай из брендспойта!
Вот стихов удила – поделом,
видно, выдохлись лошади эти...
И осталось уснуть за столом
и проснуться. В грядущем столетье.

СОБАЧЬЕ

Перед явкою с повинной, перед выходом во тьму –
люди пахнут мешковиной и зевают, как Муму.
И в рождественскую стужу, в ночь, протертую до дыр:
высыпается наружу – весь невыспавшийся мир.
Сколько радости щенячьей – столько бешенства в груди,
что с удавкой и удачей ты к нему не подходи.

Сын гипербол, внук парабол, в зимнем небе над Москвой
Саша звезды процарапал, словно в женской душевой.
Там, увы, не край державы и не крайские сады –
кафель в трещинах и ржавый, лошадиный шум воды.
Там фривольная монголка моет ноги при свече
и у Пушкина наколка «В.В. Путин» на плече.

Я – люблю тебя, наверно, ты – копаешься в вещах,
все мы – жертвы постмодерна и мадеры натошак.
За испорченные нервы, за пожизненный бардак –
нам подарены консервы для летающих собак.

Ждут Гавана и Сейшелы, ждут Аляска и Апсны...
И пускай скулят е-мейлы. В ноутбудке. До весны.

АППАНСИОНАТА

Море хрустит леденцой за щеками,
режется в покер, и похер ему

ПОЭЗИЯ – СТРАННОЕ ДЕЛО...

похолодание в Старом Крыму.
Вечером море топили щенками –
не дочитали в детстве «Муму»...
Вот санаторий писателей в море,
старых какателей пансионат:
чайки и чай, симпатичный юннат
(катер заправлен в штаны). И Оноре,
даже Бальзак, уже не виноват.
Даже бальзам, привезенный из Риги,
не окупает любовной интриги –
кончился калия перманганат...
Вечером – время воды и травы,
вечером – время гниет с головы.
Мертвый хирург продолжает лечить,
можно услышать – нельзя различить, –
хрупая снегом, вгрызаясь в хурму, –
море, которое в Старом Крыму.

* * *

Какое вдохновение – молчать,
особенно – на русском, на жаргоне.
А за окном, как роза в самогоне,
плывет луны прохладная печать.
Нет больше смысла – гнать понты, калякать,
по фене ботать, стричься в паханы.
Родная осень, импортная слякоть,
весь мир – сплошное ухо тишины.
Над кармою, над Библией карманной,
над картою (больничною?) страны –
Поэт – сплошное ухо тишины
с разбитой перепонкой барабанной...

Наш сын уснул. И ты, моя дотрога,
курносую вселенную храня,
не ведаешь: молчание – от Бога,
но знаешь, что ребенок – от меня.

КУРЕНИЕ ДЖА

Что-то потрескивает в папиросной бумаге:
как самосад с примесью конопли,
как самосуд в память о Кара-Даге,
и, затаившись, смотришь на корабли.

Вечер позолотил краешек старой марли,
и сквозь нее проступают: мачты, мечты, слова –
складываются в молитву, в музыку Боба Марли,
в бритву, в покрытые пеной – крымские острова.

Мокрые валуны правильными кругами
расходятся от тебя, брошенного навсегда.
Но кто-то целует в шею и обхватывает ногами,
и ты выдыхаешь красный осколок льда.

* * *

Не зарекайся от сурьмы,
от охры и холста.
Когда январварство зимы
и Рождество Христа.

Херсонских плавней – мятный снег
в изюминках следов:
синицы, сойки – вниз и вверх,
с ветвей и проводов!

Не зарекайся от Днепра,
когда подледный лов.
Где прорубь на язык – остра,
и вся – в чешуйках слов.

О безбилетный ангел мой,
любитель постных щей,
останься, не спеши домой,
не собирай вещей.

Не расплетай на крыльях шерсть,
не допевай куплет,
в котором – Бог на свете есть,
а вот бессмертья – нет.

Что просто сгнули во тьме
и Пушкин, и Басе...
Ведь это будет, как по мне, –
нечестно. Вот и все.

Прощальный привкус коньяка,
посуды – вечный бой.
И день, надтреснутый слегка,
с каемкой голубой.